

ИЗ АНАЛИЗОВ «ОНЕГИНА»

К определению образа Евгения ¹

1

Есть мнение (М. Л. Гофмана), что «Евгений Онегин» создавался в течение четырнадцати лет, с 1822 по 1835 г. Это — преувеличение. Вернее исчислять длительность работ в восемь с половиною лет, с 9 мая 1823 г., когда был задуман «Онегин», и до 5 октября 1831, когда была окончена восьмая глава.

Но и восемь лет — срок огромный, и он захватывает самые цветущие годы творчества Пушкина, годы бурного созревания и расцвета. С первых строк романа и до последних, за все это долгое время, бессменным героем его является Евгений. Естественен вопрос: насколько выдержан характер героя, насколько соблюдено единство авторской точки зрения? Тщательный анализ окончательного текста и всех черновых вариантов романа удостоверяет, что характер героя выдержан во всех психологических чертах, он творчески логизирован; образ Евгения остается равен себе.

Даль романа, его архитектоника, состав его лирических партий, некоторые эпизоды — все это в течение многих лет колебалось, видоизменялось, появлялось или исчезало. Но образ героя в творческом сознании поэта дан был изначально тем же, каким остался до конца. Онегин неизменен в своих основных бытовых, психологических, моральных чертах. В разработке его образа, затянувшейся на восемь лет, колебаний не было, и единство, целостность замысла и его выполнения поразительны.

¹ Глава из работы по анализам «Онегина»; была прочитана в сокращенном виде в заседании Пушкинской Комиссии Общества Любителей Российской Словесности 30 апреля 1922 г. Ср. мои статьи в сборнике в память Б. Л. Модзалевского (1930) и в хрестоматии «А. С. Пушкин» под ред. Е. Ф. Никитиной (1929).

Укажу, что такую зрелостью и целостностью, изначально данной, отмечены и некоторые другие прославленные образы русской поэзии. Таков, например, Чацкий, не испытавший ни малейшей эволюции на протяжении нескольких лет текстовой и творческой истории «Горя от ума». Еще более выразителен Обломов, творческая история коего растянулась на десять лет, и который, однако, является художественным монолитом.

Однако, имеются и обратные примеры. Творческая история Рудина есть история колебаний, поисков, отмен и возвратов к прежнему, и окончательный текст романа носит на себе явные следы спаек, контаминации разнородных, инородных элементов в образе героя и смен авторских точек зрения. Образ Андрея Болконского в окончательной редакции «Войны и Мира» строен и зрел, но в своем специальном исследовании А. Е. Грузинский показал нам, как много колебаний пережил этот образ в творческой работе Толстого. Онегин не таков.

2

Но если объективное художественное содержание образа Евгения, созданного из зорких наблюдений автора, оставалось равным себе во всех песнях-главах, то не могла ли измениться точка зрения, понимание, оценка юрта? Ведь на протяжении восьми лет он мощно рос, менялся в настроениях и взглядах.

В романе есть один момент, дающий всю основательность этому вопросу. Это—посещение Татьяной деревенской библиотеки Онегина и размышления над его книгами. Художественный замысел этих посещений—одно из прекраснейших вдохновений в «Онегине». Описание вечерней прогулки, когда Татьяна впервые подошла к усадьбе Онегина, милые подробности встречи с ключницей, умиление, осеняющее томную душу любящей девушки, вошедшей в жилище своего героя, это чтение любимых книг его и трепетное внимание к тому,

Какую мысль, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он,

особенно эти слезы, когда

в молчаливом кабинете,
ыв на время все на свете,
Осталась наконец одна
И долго плакала она,—

— все это сильно, нежно и глубоко. Это правдиво, это достоверно без дальних доводов. И очарованный читатель, прочтя

эти превосходные строфы, безотчетно, на веру принимает дальнейшие стихи:

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу—
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Уже ли подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?

Эта XXIV строфа седьмой главы казалась такой же ясной как и предыдущая, даже более ясной и усвоимой. Правились и легко воспринимались эти эпиграмматические крылатые речения: ничтожный призрак, чужих причуд истолкованье, слов модных полный лексикон, пародия. Но особенно понравилась формула: москвич в Гарольдовом плаще. Слово было найдено и в сотне статей и учебников оно потом применялось к Онегину как меткая, бесспорная характеристика,—чтобы наглядно нам показать, как можно вульгаризировать поэтическую мысль. Печально, что в такой вульгаризации участвовал и Достоевский своею Пушкинской речью. В ней он уверяет, что на вопрос об Онегине: «уж не пародия ли он?» Татьяна отвечала утвердительно, что «она разгадала» Онегина в его кабинете, что «в Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает», «разглядела его уже давно», почему и «отсылает» его так твердо. Для Достоевского, как и для многих и многих, в эпизоде посещения Татьяной кабинета Онегина все ясно.

Между тем, самое темное, самое спорное, что есть в «Онегине»,—это именно XXIV строфа седьмой главы.

3

Ее необходимо анализировать всесторонне, иначе образ Онегина и отношение к нему поэта будет колебаться в нашем понимании.

Спорно здесь, во-первых, уверение Пушкина, будто Татьяна, прочитывая несколько книг с пометками Онегина, стала по-

немногу, но все яснее понимать того, по ком она вздыхала. В библиотеке Евгения она нашла и перечла—

Певда Гяура и Жуана
Да с ним еще два-три романа.

Пусть романов было больше, пять-шесть, все-таки это немного. В черновых Пушкина сохранялся другой список прочитанных Онегиным книг:

Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций;
Локк, Фонтенель, Дидро, Парни,
Гораций, Кикерон, Лукреций.

По подбору, по рассуждениям перечисленных здесь философов и публицистов было бы, конечно, легче воссоздать воззрения Онегина. Но Пушкин мудро воздержался от включения в текст этого длинного перечня: он здесь был бы всячески неправдоподобен—и для деревенского чтения Онегина, и для ревизии Татьяны. Наоборот, поэмы Байрона (Пушкин в черновых набросках колебался, не включить ли «Манфреда», но заменил его «Гяуром») и два-три романа—современных, изысканных—это сама правда.

Но правда ли, что сквозь них Татьяна угадала и не только угадала, но и переоценила душу Онегина? Ведь, это была хоть чуткая, но малообразованная девушка, во-первых. Затем, едва ли ей до того времени были знакомы те романы-новинки, которые оказались у Онегина. Едва ли было легко освоить их идейное и моральное содержание и подняться над ним со своей критикой и осуждением. Скорее могло быть обратное: увлечение «опасной книгой», о чем сам Пушкин говорит так определенно (глава третья, строфа XII):

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Еще труднее было романического героя — «современного человека с безнравственной душой» — сблизить с живым героем и на второго перенести оценку первого. Ведь, что знала Татьяна об Онегине? Она ни разу не поговорила с ним. Его красота, его светская обаятельность, печать оригинальности, общее веяние духовной силы — вот и все, что могла воспринять влюбленная девушка, естественно притом склонная к идеализации возлюбленного. И если литературных героев Татьяна, в противоположность своим современницам-отроковицам, признала людьми с безнравственной душой, себялюбивой и сухой, то ожидалось бы, что она отвергнет сближение их с ее героем, Онегиным. Пушкин понуждает нас поверить обратному.

Пусть будет так. Но тотчас же вырастает другое, большее недоумение. Пусть Татьяна подумала об Онегине столь сурово. А что думал сам Пушкин?

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Уже ли подражанье,
Ничтожный призрак иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?

Это все, как видим, вопросы, и Пушкин прямо на них не отвечает. По некоторой юношески наивной фразеологии одного из них («Созданье ада иль небес, сей ангел, сей надменный бес») можно было считать, что вопрос задан от имени юной Татьяны (ср. в ее письме к Онегину: «Кто ты: мой ангел ли хранитель или коварный искунитель?»). Но остальные вопросы сформулированы так зрело, так сурово, так тяжело! Только ум и дух, вполне созревший, сам некогда бывший во власти байроновских очарований и с усилиями от них освободившийся, каков и был ум Пушкина, мог создать эти определения. Знаменитая формула «москвич в Гарольдовом плаще» не могла и сложиться в голове Татьяны: ведь она и в Москве-то еще не побывала. Стало быть, поэт говорит за самого себя. Сама постановка таких вопросов, их внутреннее единство предполагает их предрешение. Вопросы становятся риторическими, т.-е. с готовым утвердительным ответом.

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?

спрашивает Пушкин за Татьяну. И опять не дает ответа, и «слово» не называет, но проговаривается о своем соучастии в суде и осуждении Онегина:

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать—
Теперь яснее, слава богу,—
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной.

Уклончивость Пушкина мешает нам безоговорочно утверждать, что и поэт, и его героиня после суда над Онегиным признали его ничтожным призраком, пародией, лексиконом модных слов. Приходится смягчить и ограничить осуждение. Но подражательность Онегина,—стало быть—и неискренность и незрелость, умаление перед литературными его прообразами, вообще ущербление внутренней значительности—налицо.

4

Что же случилось? Как это вышло, что истинный герой романа, так щедро одаренный и высокими духовными достоинствами, и авторским сочувствием—и в дальней, давней первой главе, и в главе заключительной восьмой, в соседней с нею главе седьмой—так сурово «развенчивается»?

Здесь есть какая-то неясность, как будто противоречие.

Может быть, следует признать анализируемую XXIV строфу за прямую ошибку, оставшуюся незамеченной и неисправленной? Нельзя: эпизод имеет свое продолжение. В заключительной восьмой главе, строфа IX, при первом появлении Онегина в свете, после скитаний, кто-то спрашивает:

Давно ли к нам он занесен?

и тотчас иронически продолжает:

Все тот же ль он иль усмирися?
Иль корчит также чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем нынче явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый мальчик,
Как вы, да я; как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...

Мельмот, Гарольд, маска, обветшавшая мода—ведь это все то же, что говорили порт и Татьяна в седьмой главе, и в той же вопросительной форме,—впрочем с недвусмысленным ответом:

Довольно он морочил свет...

Тремя строфами ниже Пушкин возвращается к этим толкам в свете об Онегине:

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.

Опять тот же притворный чудаки—с перечислением еще нескольких масок.

Но здесь нас подстерегает новая неожиданность: со стороны автора такие толки встречают резкий отпор. «Знаком он вам?» вмешивается он в разговор. «—И да, и нет».

— Зачем же так неблагоприятно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неуговорно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Пылкая душа, возносимая над самолюбивою ничтожностью, ум, любящий простор, странность, которая не по плечу посредственности,—все эти новые определения полярно противоположны только-что перечисленным. Они воссоздают Онегина первой главы и финала.

Следует сказать, что горячая защита автором Онегина в строфе IX имеет свою историю. Впервые мы встречаем эту строфу как размышление самого Онегина в записях его «Альбома», который писался, как это ни странно, в контексте седьмой главы, где читаем диатрибу против москвича в Гарольдовом плаще.

Меня не любят и клеветуют,
Среди мужчин несносен я,
Девчонки предо мной трепещут,
Косятся дамы на меня.
За что?—за то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет иль смешит,
Что ум, любя простор, теснят.

Клеветы—это ведь давняя черта из биографии Онегина и Пушкина. Одно это обеспечивает солидарность автора романа с автором дневника. А вскоре Пушкин, от своего собственного кмени, заносит ту же строфу (почти буквально, с ничтожными исправками) в «Путешествие Онегина»—и с явным сочувствием к скитальцу. А затем, вместе с смежными четырьмя строфами, она была перенесена из «Путешествия» в текст восьмой главы.

Итак, Пушкин дорожил этой строфой—отповедью. Она хорошо выражала его отношение к Онегину.

Зачем же было в седьмой главе ценой бытовых и психологических натяжек, ценой противоречия начертанному образу Онегина подымать вопросы о его подражании байроновским героям, о его неискренности-незрелости, умалять его?

Ответ затруднен всеми теми осложнениями и противоречиями, о которых говорено выше. Но без ответа творческие искания поэта, внутреннее движение образа Онегина остаются неучтенными и пострадает полнота понимания.

В анализируемой XXIV строфе седьмой главы оценка Онегина поставлена очень угловато: непременно как подражание, пародия, чужих причуд истолкованье, москвич в Гарольдовом плаще. Это после веского заявления о «неподражательной странности», которая так нравилась Пушкину в первой главе. После всего, что прежде и дальше говорится о глубоких искренних чувствах и чертах характера Онегина, эти обвинения звучат несправедливо и не дают прямого определения героя.

Но есть одна строфа—из того же эпизода, где прямо Онегин не упоминается, но где скрыт ключ к строфе XXIV.

5

Мы знаем, что

Евгений издавна чтение разлюбил,
Однакож несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гаура и Жуана,

Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Характеристика современного человека дана здесь не в уклончивой вопросительной форме, а позитивно, с несколькими определенными и ясными чертами. Из них некоторые: преданность мечтанью, озлобленный ум, кипенье в действии пустом— совершенно подходят к Онегину. Остается отзыв о безнравственной душе, себялюбивой и сухой. Мысль о себялюбивой душе современного человека, его сухом эгоцентризме много занимала Пушкина. Еще во второй главе романа, рассказав, как Онегин и Ленский скоро стали «от делать нечего друзьями», он высказал значительную мысль:

Но дружбы нет и той меж нами;
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулами,
А единицами—себя;
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно.

Важно, что, работая над этой морально-психологической формулой, Пушкин набросал ее в черновых рукописях гораздо шире и свободнее; за выписанной цитатой здесь еще говорится:

Собою жертвовать смешно;
Иметь восторженные чувства
Простительно в 16 лет;
Кто чувствам верит, тот поэт
Иль хочет высказать искусство
Пред легковерною толпой.
Что ж мы такое?.. Боже мой!

Поразительна здесь черта авторского лиризма: «Что ж мы такое?.. Боже мой!» Поразительно это сокрушение поэта о себялюбии, отвержении восторженных чувств, вообще о потере веры в чувство. Характеристика современников здесь обобщена. Но нетрудно сблизить ее с Онегиным, стоит вспомнить, как он относится к восторженным чувствам Ленского. И чтобы не было тут никаких сомнений, Пушкин продолжает:

Сноснее, впрочем, был Евгений.
Людей он просто не любил
И управлять кормилом мнений
Нужды большой не находил.
Не посвящал друзей в шпионы.
Хоть думал, что добро, законы.
Любовь к отечеству, права
Одни условные слова.
Он понимал необходимость
И миг покоя своего
Не отдал бы ни для кого,
Но уважал в других решимость.
Гонимой славы красоту,
Талант и сердца правоту.

Можно горько пожалеть, что эта полновесная строфа не вошла в печатный текст,—не потому, конечно, что поэт нашел ее неудовлетворительной, а потому, что для цензуры были невыносимы смелые слова об условности добра, законов, любви к отечеству. Изящно и сильно сказано здесь про Онегина:

Но уважал в других решимость,
Гонимой славы красоту,
Талант и сердца правоту —

сильнее, чем в общеизвестном печатном тексте. Но при всем сочувствии к Онегину, противопоставляя его другим, Пушкин и все же сказал здесь о нем такое важное, что замолчано в окончательном тексте:

Людей он просто не любил...
...И миг покоя своего
Не отдал бы ни для кого.

Этим прямым и твердым определением душа Онегина тесно сближена с душой современного человека, «себялюбивой и сухой».

Еще одна цитата, и станет ясно, почему после всех этих оценок Онегина Пушкин так угловато и парадоксально говорит о москвиче в Гарольдовом плаще, о подражании Байрону.

В приведенной выше XII строфе третьей главы, шутливо противопоставляя старинные романы, в которых «всегда наказан был порок, добру достойный был венок»,—современности, когда «мораль на нас наводит сон», когда «порок любезен и в романе, и там уж торжествует он», Пушкин упоминает «британской музы небыллицы» и продолжает:

Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Тон этих стихов теряет шутливость, становится глубоким и искренним.

6

Не случайно тут упоминание о Байроне. При создании «Онегина» мысль Пушкина постоянно возвращалась к Байрону. «Шутливая поэма мрачного Байрона»—«Беппо» навела форму лирической поэмы-романа. Неоднократно упоминается Чайльд-Гарольд, упомянут Корсар и сам Байрон, и байронизм.

Общеизвестно прямое влияние Байрона на Пушкина; об этом так много писали. Менее известна и осознана борьба Пушкина против Байрона, против байронизма. Под байронизмом будем здесь разумеать не формальные эстетические особенности байроновской поэзии (они возбуждали и обогащали творчество молодого Пушкина),—но дух этой поэзии, ее пафос, философию и мораль. Мощный, исключительный эгоцентризм Байрона, «гордости поэта», некогда восхищала Пушкина. В известной мере и временно он отвечал строю душевной жизни Пушкина перед ссылкой и в ней. Но, созревая, Пушкин отделялся от байронизма, пока не осознал, что его собственное мирозерцание и душевный строй определились как инородные байронизму, его гордыне и эгоцентризму-эгоизму. Свершилась переоценка и Байрона и его героев. И это было только подчиненным моментом в общей перестройке Пушкинского мирозерцания, переоценке и своих ценностей, столь дорогих прежде. В переоценку попал и Онегин.

У меня нет здесь места для разработки этой социологически необычайно важной темы. Но необходимо сказанное принять, чтобы подойти поближе к разрешению «загадки».

Итак, Байрон удачной художественной прихотью опозтизировал недоброе—безнадежный эгоизм. Красивый романтический эгоизм его литературных героев ответил душевному складу многих живых людей, его читателей, почитателей и подражателей. К ним принадлежал и Онегин, не литературный только, но и те живые Онегины, которых А. А. Бестужев постоянно встречал в русской жизни (в его письме к Пушкину 9 марта 1825 читаем: в Онегине «вижу человека, которых тысячи встречаю на яву, ибо самая холодность и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов»).

Переоценка вышла односторонней. Пушкин сосредоточил обвинения именно на литературных чертах, на подражаниях—или аналогиях—байронизму, книжному, байроническому романтизму, что если и было, то в малой степени. А следовало

говорить прямо о душевных чертах Онегина, — все также прямо, как и о современном человеке «с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой, мечтательно преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом».

Только из черновых рукописей мы узнаем, что Онегин «людей просто не любил», «миг покоя своего не отдал бы ни для кого». Зато эти черновые дают все основания распространить оценку «современного человека» на Онегина.

Итак, вот каков ключ к загадочной строфе о москвиче в Гарольдовом плаще. Искренне и убежденно Пушкин считал Онегина «безнравственным» (конечно, не в ходячем смысле), эгоистом, не любящим людей, таким же, как и байроновские герои.

Что же это такое: противоречие со всем тем, что сказано об Онегине в первых главах и в главе заключительной? Отвержение прежнего нравственного облика Онегина — с лишением его авторского сочувствия? Поздняя реконструкция подлинного Онегина, дотоле не ясно созерцаемого сквозь магический кристалл? Или это — случайная обмолвка экспансивного поэта, своевременно не замеченная, не исправленная и затвердевшая?

Ни то, ни другое.

Новые черты, обрисованные в строфах XXII и XXIV седьмой главы, конечно, иные, чем прежде данные: те положительные, эти отрицательные. Но они не противоречат друг другу. Наоборот, отрицательные черты тесно связаны с положительными, являются их продолжением и развитием. Все прежде данные черты психологические и моральные остаются, и автор свое сочувствие герою утверждает отповедью его недоброжелателям в восьмой главе. Новые черты «современного человека» являются только углубленной разработкой той мысли, которая уже дана во второй главе, в строфе, где говорится:

Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.

Стало быть, и случайной обмолвки здесь нет.

Неясно, противоречиво изложенная строфа XXIV после произведенных изучений сливается воедино со строфой XXII, и смысл эпизода проясняется.

ПАМЯТИ
П. Н.
САКУЛИНА

СБОРНИК СТАТЕЙ

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
«НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ»
Москва—1931